

DOI: 10.31860/978-5-91172-222-7-311-328

Н. Н. Пунин.¹

**Фрагмент из воспоминаний, написанных в середине
сороковых годов, по дневникам 1904–1906 гг.
Воспоминания**

Публикация А. Г. Каминской, *Н. Л. Зыкова и П. Л. Зыкова*

<...> В период детства мы жили круглый год в Павловске: деревянный городок, зимой занесенный снегом; в сумерках по улицам бегал человек с небольшой лестницей и зажигал керосиновые лампы в фонарях. Летом Павловск наполнялся дачниками и становился совсем другим: экипажи, батистовые розовые платья с лентами, пестрые зонтики, при входе в парк продавали бутоньерки из роз и резеды; на вокзале – музыка, днем – военная для детей и няnek, по вечерам в громадном зале симфонические концерты. За городом был великолепный парк, и там был, действительно, дворец; к моему детству они не имели никакого отношения. Лучше помню крепость Бип над рекой; она стояла высоко на холмах, между которыми на дощатых помостах были поставлены пушки на деревянных лафетах; эта крепость для меня имела какое-то отношение к англо-бурской войне. Бедный президент Крюгер, объезжавший столицы Европы, забыт; забыто это широкое морщинистое лицо голландского рыбака; борода у него росла на шее, а подбородок был выбрит; смотрел на его портрет в «Ниве» и удивлялся – как это такая большая грубая рука сжимает руки придворных дам. Забыты красные мундиры и белые шлемы англичан, которых тогда все ненавидели, и палатки, над которыми реяли белые флаги с красными крестами, и падающий с лошади молодой бур в широкополой шляпе; все были за них, но их победили.

<...>

В 1900 году отец женился,² и мы переехали в Царское Село. Шел период расцвета материального благополучия нашей семьи. Отец был врач; еще в последний год жизни матери стала крепнуть его популярность среди жителей Павловска. Теперь он зарабатывал

столько, что у нас появилась лошадь и даже карета, которую запрягали, кажется, только раз в год – для ночной поездки в Павловск, ... к заутрене (на Пасху).

<...>

Прочный быт нашего дома был типичным бытом царскосельских домов средней руки.

Царское Село было в те времена несколько необычным городом. Несмотря на близкое соседство, он ничем не походил на Павловск. Зимой там никто не бегал по улицам, зажигая лампы; царскосельские улицы круглый год, за исключением, разумеется, белых ночей, освещались высокими посеребренными электрическими фонарями.

Царское Село не было дачным местом; правда, летом туда приезжал кое-кто «на дачу», но коренные царскоселы на лето обычно сами уезжали в свои имения, на юг или за границу. Город, как известно, был придворным, и двор часто жил в Царском Селе по зимам, поэтому улицы были хорошо вымощены и посыпаны мелким гравием и содержались в чистоте. На царскосельском быте был налет фешенебельности; Царское Село было городом придворной знати, гвардейского офицерства и выездных лакеев; эти последние, высоко вознесенные на козлах придворных карет, реяли над улицами в своих красных ливреях, опушенных у ворота мехом и обшитых золотым галуном с черными орлами. Нам не приходило тогда в голову, что Царское Село можно будет назвать «городом муз». <...> И я вспоминаю о нем, как о городе зеленых садов и старых парков, над которыми горели, далеко видимые золотые купола церквей. Тихий город – озеро, окаймленное великолепием и суетой барокко!..

Гимназия, в которой мы учились с братом (Александром,³ умершим во время блокады от голода), как и Царское Село, была не совсем обычной гимназией: ее директором был Иннокентий Анненский. В те первые годы нашего пребывания в гимназии мы ничего не понимали в этом. Анненский казался нам директором-чудаком. В Гостином Дворе, в книжной лавке Митрофанова, уже которую зиму за стеклом в окне, засиженный мухами, стоял экземпляр книги стихов: Ник-то «Тихие песни», и мы знали, что это сборник стихов Анненского. Никто из нас в ту пору этой книги не читал, но, если бы даже и читал – самый факт: директор пишет стихи – ни в какой мере не соответствовал царскосельским представлениям о директоре

и его времяпрепровождении и в наши головы не укладывался. Время от времени мы видели этого директора в гимназических коридорах; он появлялся там редко и всегда необычайно торжественно. Отворялась большая белая дверь в конце коридора первого этажа, где помещались старшие классы, и оттуда сперва выходил лакей Орефа <sic!>⁴, распахивая дверь, а за ним Анненский; он шел очень прямой и как бы скованной какой-то странной неподвижностью своего тела, в вицмундире, с черным пластроном вместо галстука; его подбородок уходил в высокий, крепко накрахмаленный, с отогнутыми углами воротничок; по обеим сторонам лба спадали слегка седеющие пряди волос, и они качались на ходу; широкие брюки болтались вокруг мягких, почти бесшумно ступавших штиблет; его холодные и вместе с тем добрые глаза словно не замечали расступавшихся пред ним гимназистов, и, слегка кивая головой на их поклоны, он торжественно проходил по коридору, как бы стягивая за собой пространство. Наверх, там, где помещались мы, ученики младших классов, он никогда не подымался я же видел его только потому, что дружил тогда с Бородиным, учеником VI, кажется, класса, и спускался к нему вниз каждую перемену. Более близкого отношения к Анненскому ни в эти годы, ни позже мы, гимназисты младших классов не имели; Анненский преподавал греческий язык в VIII классе, но греческий язык был вскоре отменён, и Анненский остался в моей гимназической памяти лишь торжественно проходящей по нижнему коридору тенью. И тем не менее, гимназия была не совсем обычной. Казенный дух, обычный в учебных заведениях того времени, как бы трепетал и рассеивался от какого-то неуловимо-тонкого и вместе с тем постоянного дыхания. Его чувствовали учителя, подобранные директором Анненским, и мы, праздновавшие открытие царскосельской статуи Пушкина⁵ и ставившие своими силами на гимназической сцене Софокла. Меня это дыхание коснулось, как только я спустился вниз, в IV классе; в коридор, заканчивавшийся дверью в квартиру Анненского.

Почти ничего не могу вспомнить о первых трех-четырёх годах моей гимназической жизни. <...> Первым симптом пробуждения было увлечение астрономией, книгами Клейна, а затем Ньюкомба (Фламариона я пробовал читать, но чем-то он не понравился мне). Астрономия приводила в порядок и сообщала форму темному чувству безграничности мира... Читал по вечерам, и стены комнаты

растворялись в звездном пространстве. Я подружился тогда с Сашей Бородиным,⁶ учеником VI класса; у него был небольшой телескоп и небольшая химическая лаборатория; вместе мы ходили к учителю естествознания Д. А. Судовскому⁷ (по прозвищу «кролик»: у него были рыжеватые глаза и всегда красные веки); он жил на окраине во Фриденгальской колонии в двухэтажном деревянном домике; оттуда я уносил с собой чувство царства и тайн природы. Астрономия естественно привела к математике, и я в течение, кажется, месяца ежедневно приносил Бородину новое доказательство теоремы Пифагора (о двух параллельных), и ежедневно Бородин опровергал мои аргументы, показывая мне, что я строю их на последующих теоремах, вытекающих из недоказуемой теоремы Пифагора. О принципе относительности, разумеется, никто тогда не мог знать. Семья Бородиных была зажиточной (у них был дом в Киеве) и несколько чопорной семьей; мне было трудно сидеть у них за чайным столом. Бородины были домами знакомы с Анненским и с семьей Хмара-Борщевских. Саша Бородин кое-что рассказывал мне об Анненском, но то, что он рассказывал, или, может быть, то, что я запомнил из его рассказов, относилось к бытовым мелочам, вроде, например, того, что Анненский любил крепкий чай с одной, обязательно одной, каплей сливок. Рассказывая об Анненском, Бородин имитировал его неповторимую интонацию, точнее, его манеру говорить. Царскосёлы почти всегда, говоря об Анненском, имитировали эту его манеру, немного шаржируя её; этим они выражали свое иронически-почтительное отношение к директору Царскосельской гимназии. В Царском Селе много говорили об Орефе, так что у меня тогда сложилось впечатление, что Орефа главное – и при этом несколько комическое лицо в семье Анненских.

Увлечение астрономией и математикой прошло довольно быстро; на очередь стали – история, литература, а затем философия. В те годы вообще всё шло для меня быстро, набегало одно на другое, и одно другое опережало, так, что, вспоминая себя, я вспоминаю какое-то неустойчивое и нервное, нетерпеливое возбуждение, в котором я тогда жил. Теперь я уже много читал, книгу за книгой, все, что попадалось, кроме романов. Так называемая «жажда знаний» есть, действительно, жажда, нетерпеливая и неутолимая, если только она возникает не от себялюбия – знать, чтобы знать, а от простой человеческой потребности знать, чтобы понять. Такой именно она возникла

во мне тогда, на пятнадцатом году моей жизни, и с такой силой, что я весь как бы трепетал, одержимый ею. Если бы не моя природная лень, я, вероятно, изнемог бы под её напором, хотя, вопреки лени, я читал тогда все-таки много, сколько только хватало внимания. Правда, благодаря нетерпению и лени, я предпочитал популярные книжки и стал, между прочим, благодарным читателем маленьких томиков «Жизнь замечательных людей», издаваемых Павленковым; по-моему я прочитал все. Они волновали меня ещё потому, что питали тогда же пробудившиеся во мне и тщеславие, и честолюбие: с «великими людьми», я соотносил, разумеется себя. Об этой моей страсти к этим маленьким книжкам узнал Анненский, вероятно, от отца, который будучи гимназическим врачом, лечил кого-то в семье Анненских. Он порекомендовал отцу подарить мне книжку Жоли⁸ «Психология великих людей»; я получил её; она охладила меня, в ней было слишком мало нужных мне фактов. Чтение, которому я предавался вечерами, не улучшило, естественно, моих отметок; у меня совсем не оставалось времени готовить уроки, но отношение ко мне и со стороны товарищей, и со стороны все-таки учителей резко изменилось; первые смутно почувствовали какую-то во мне перемену, вторые открыли у меня способности, которые я, однако, по лени, как они думали, не использовал для приготовления уроков. Но я читал, и голова моя была полна теориями бытия и вопросами мироздания. Как познаваемая система, мир открывался для меня впервые.

В те годы в гимназиях были обычным явлением ученические гектографированные журналы. У нас, по крайней мере, выходило четыре, правда, в разное время; два из них издавал я, сперва «Вестник астрономии и физики», потом «Грозу»; в старших классах выходил «Горизонт». Все это имело известный смысл: развивало инициативу, может быть, даже направляло интерес, но многое было от тщеславного чувства – играть роль. Я заговорил об этом только потому, что на окраине всей этой школьной журналистики на мгновение возник передо мной Гумилёв. Он был старше меня сперва на три, а потом на два класса, умудрившись в VII классе остаться на второй год. Некрасивый, но с тщательно сделанным пробором посередине головы, он ходил всегда в мундире, кажется, на белой подкладке, что считалось среди гимназистов высшим шиком. Никакого активного интереса к гимназической жизни он не обнаруживал, но вокруг его

имени смутно гудела молва; говорили об его дурном поведении, об его странных стихах и странных вкусах. Я ничего не помню, кроме того, что я смотрел на него, надменно проходящего по коридору, с благоговейным любопытством. К журналу «Горизонт», помнится, он имел какое-то отношение. Раз как-то – я тогда уже издавал «Грозу» – мы прошли с ним, возвращаясь из гимназии, один квартал; о чем мы говорили, не знаю, но самым фактом этого разговора я был польщен.

7 марта.

<...>

Начну с 4 класса. Сильное честолюбие билось во мне чуть ли (я, по крайней мере, склонен так думать) не с моего рождения. Но по условиям окружавшей меня жизни (Павловск, характер воспитания и т. п.) я не только не мог выдвинуться из среды моих товарищей, но, наоборот, я задавливался ими, насколько это было возможно. Я принадлежал к тем ученикам, которых мало того, что не любят, но прямо ненавидят (это доказывают многие выходки по отношению ко мне со стороны класса). Если у меня являлись покровители – меценаты, бравшие меня под свою защиту, понятно, что между мной и ими не могло быть иных отношений, как слабого к сильному, причем не столько по высокой степени умственного развития; они не могли даже увидеть во мне интересного и полезного собеседника.

<...>

Но знакомство с Бородиным, да и вообще мое нравственное воспитание дали себя знать, и к концу года я настолько повзрослел, что, если бы не моя вечная орфография, я получил бы награду. В то же время началось увлечение астрономией, которая по своему духу близко подходила ко мне, и глубина, и величественность, наравне с заслугами знаменитых астрономов. Тогда появился в гимназии ученик Иванов,⁹ тип весьма интересный, как родное детище нашего поколения. Ужасные материальные условия, которые его окружали, настолько изменили его психологию (ибо детский ум не мог вынести всего его окружавшего), что его вполне можно было считать психопатом. Его узкая специальность, которой он в то время был предан, – паровозы, специальность не вполне нормальная для гимназиста 5 кл<асса>, его самомнение, рожденное большими способностями и внушенное

ему его предыдущими преподавателями, наконец, его психопатство наравне с великолепным учением – все это выдвинуло его сразу из толпы. Дружба с Коблевским,¹⁰ машинистом «по рождению» сильно способствовало его авторитету. Но, во всяком случае, к нему относились скорее с уважением, чем с дружбой. Не знаю почему, но вскоре он заметил меня. Впрочем, еще раньше я, под влиянием Бородина, усердно занимаясь астрономией, приступил к изданию журнала «Вестник Астрономии и Физики»,¹¹ факт, который имел немало значения для усиления моего авторитета. Вполне вероятно, что именно мое занятие и обратило его внимание на меня, к тому же мы с ним сходились в любви к математике. Одним словом, я стал сотрудником, издаваемого им <Ивановым> журнала «Муравейник».¹² Я здесь совершенно не упоминал о Бородине, влияние которого я, наверно, тогда испытывал, и оно было плюсом, покрывавшим многие минусы IV класса. Как бы то ни было в VI кл<ассе> я вращался в высоко развитом умственно обществе, и между прочим в обществе Д. А. Судовского, наиболее выдающегося из педагогов того времени, и знаю твердо, что попал туда, благодаря Бородину. В это время под влиянием биографий «астрономических героев», а позже и вообще выдающихся умов, честолюбие начинало во мне клокотать. Я бросился в историю, литературу и, наконец, в философию – тогда начались мои бессмысленные скитания от одного к другому, искание славы и гения. Это очень важный и самый пагубный период моей жизни.

Конспективный комментарий к дневникам 1904–1906 годов

5 сентября 1908 г<ода>

Когда-то я записал на страницах моего дневника общие черты моей жизни в первых пяти классах гимназии. Теперь я хочу продолжить эту запись и прежде всего потому, что воспоминания, которым я отдаюсь, записывая прошлое, доставляют мне бесконечно много счастья, а также и потому, что в этих записях я пытаюсь осветить перед собою свое прошлое.

Я остановился на том моменте моей жизни, когда кончился первый период того кризиса внутренней жизни, который бывает у большинства людей, и началась вторая стадия моего перелома. Я познакомился с Ивановым и сошелся с ним до философских споров, я не могу

сказать, чтобы его влияние было сильно, мне кажется, он уже сделал свое дело, он извлек меня из толпы класса – дальше я отделился от него и, может быть, скорее служил опорой для него, чем он для меня. Зато Бородин начинает играть главную роль в моей жизни. Мало по малу этот странный, как я осмелюсь его назвать, человек становится единственной личностью, которой доверяю я свои переживания. Я назвал его странным, и это единственное, что я могу о нем сказать теперь. Родившись во вполне обеспеченном семействе, он получил блестящее с педагогической точки зрения воспитание. Его мать развила настолько его волю, что он может, *по-видимому*, управлять многими своими желаниями. Это обстоятельство в связи с его сильным, но не глубоким умом и, скорее, умом холодным, практическим, чем таким, в котором отражается вся внутренняя жизнь человека – сделало из него того холодного, справедливого, честного по-старому педагога по призванию, каким он явится в своем будущем поприще.

<....>

Как бы то ни было, но после этих ужасных бурь 4-го класса, после того, как я увидел школу в ее истинном свете и особенно после «домашних неприятностей» (называю их так, потому, что мне стыдно называть их собственным именем), Бородин стал для меня тем единственным человеком, встречи и разговора, с которым я искал, и который придал смысл многим дням моей жизни.

Рядом с этими внешними событиями, внутренняя жизнь моя развивалась поразительно быстро. Занятия мои астрономией продолжались недолго; меня главным образом занимали биографии великих астрономов и философичность этой науки, поэтому лишь только я исчерпал все популярны и общефилософско-астрономические книги и мне <пришла пора заняться> чистой математикой, астрономия моя рассеялась как туман. Напрасно я слышал укоры Иванова и учителя математики Травчетова,¹³ очень оригинального человека и талантливого математика, астрономия для меня угасла навсегда, я отдался литературе, моим идиолом, простите мне, о, боги, стали Белинский и Руссо. Я помню хорошо, как я старался по-русски, с каким нетерпением ждал письменных сочинений, за которые я всегда получал единицы и двойки, потому что не обладал никаким слогом и не знал никакой орфографии, как ревностно я изучал литературу и большим праздником было для меня, когда я заставил учителя

русского языка (Мухина)¹⁴ – потому что он этого не хотел – поставить мне 4 в четверти. Сочинения я писал и заданные, и не заданные, и этим я достиг того, что в течение года настолько исправил свой слог и научился правильно мыслить, что за одно сочинение (на тему: «Осень в Царскосельском парке») мне было поставлено 5/1 (орфография). А орфография до сих пор не в моей власти.

В эту же зиму я очень скоро от Белинского перешел к философии, религии. Я страшно полюбил маленькие книжечки биографий великих людей – издания Павленкова, – с бесконечным счастьем проникал я в души великих людей, с странным восторгом находил я в них родственные себе черты, с безумным страданием сознавал их преимущества, над этими маленькими книжечками я измучился больше, чем за всю мою жизнь до того времени, до одурения разбирал я себя, и каждая мелочь имела тогда значение; поза, манера одеваться, способ жизни каждого из великих людей, биографии которых были прочитаны, я сравнивал с своими и наслаждался, когда были они общие, мучился, бесконечно мучился, когда они были разными. Мысль Шопенгауэра, что гении должны иметь короткую шею, мучила меня страшно, потому, что у меня была длинная шея. Я помню, что я уходил в парк и там проглатывал эти биографии с<о> страстностью молодости, я покупал их сам, тратя на них все деньги, брал из библиотек; сколько их было перечитано и перекуплено уж не знаю, у меня остались теперь только немногие: видно, были и другие любители этих книг. Правда, кроме такого индивидуального значения, эти книжки имели и другое: они давали массу исторического материала и питали зародыш будущей любви к истории. Благодаря вот одной из этих биографий, я познакомился с философией Шопенгауэра, и она сразу остановила на себе мое внимание, к Пасхе я получил в подарок сочинения Шопенгауэра и всю весну я упивался им, неясно сознавая пессимистичность его теорий, но отлично понимая, многие его такие родные, уже самим продуманные мысли.

Все это было зиму 6-го класса. Но вот наступило лето 1905 г<о-да>, в это лето, под осень я познакомился с Л. Леонтьевой.¹⁵

Наступил новый академический год. Еще раньше свершился Цусимский бой – и я навсегда запомнил полный печали и мрака день, в который узнали мы об этом ужасном событии. Слезы – стояли в

горле, скорбь наполняла душу. Россия была печальна (теперь этого уже не будет), и вся она молча скорбела о невозможной утрате.

И время шло, наступил октябрь, все было взволновано, все вышло из своих берегов. Сам я был нравственно усталым и именно благодаря биографиям и Шопенгауэру; Бородин не отвечал на мои вопросы, а кругом – все жило какой-то другой жизнью. Занятия в гимназии шли плохо, все ждали чего-то, на что-то надеялись. В педагогическом персонале произошла важная для меня перемена: у нас был новый учитель русского языка – В. Орлов.¹⁶ Это был очень образованный, но весьма сомнительной нравственности человек: он попросту был подл, как сказал о нем Иванов, – дело в том, что, будучи весьма либерального образа мышления, он тонко и хитро либеральничал в гимназии, имея почти всегда класс на своей стороне, он очень ловко закрывал глаза начальству и говорил в классе самые ужасные, – как тогда казалось, вещи, вроде: «цензором Пушкина был шеф жандармов, граф Бен-кен-дорф», и при этом «шеф жандармов» он произносил так, что наивный человек мог подумать, что это была большая честь Пушкину, а ученики, конечно, ясно видели в этом произношении тонкую иронию. Таковы были и все его поступки. Во всяком случае, ему обязана Царскосельская гимназия своим участием в политическом движении России. Я, благодаря своим познаниям в области литературы и особенно Белинского, сразу выдвинулся почти на первое место; за сочинение с тех пор я не получал меньше четверки.

Шли дни, началась октябрьская забастовка, петербургские гимназии смутно волновались, среди нас происходило тоже что-то, но тогда я не мог понять, что именно. Заключенный в своем внутреннем мире, мало замечая, что делалось кругом, я с недоумением увидел, что жизнь коснулась нашей гимназии – и, когда, вдруг, так неожиданно, так странно поднялись трое или четверо моих «товарищей» и вместо русских уроков начались дебаты на общественные темы, потом практические советы со стороны Орлова, высказываемые в такой, например, форме: «совет рабочих посылает в таких случаях депутацию», о, как хорошо понимали эту фразу мои товарищи! я сидел, недоумевая. Но вот была послана и наша депутация, мы требовали, теперь я не помню, чего, мы грозили забастовать, я и еще двое, волнуемые честолюбием, протестовали, не соглашались, отказались от забастовки, позже нас хотели за это предать товарищескому суду, но

обстоятельства и одна моя речь спасли нас от этих излишних переживаний.

Было, помнится, 14 октября. Весь 7-й класс, кроме нас троих, просил передать Орлова (он был тогда классный наставник) директору свои требования, в случае неудовлетворения которых они грозили забастовкой; и не только они, но вся гимназия, потому что эта новая, крайне занимательная идея и такая выгодная, успела привиться через депутатов всем классам. На другое утро гимназия была закрыта. Я все еще «спал», правда, я читал уже Бебеля, Лассалья, Маркса, но так как в них меня занимала гораздо больше их философия и внутренние переживания, и так как я все еще не мог разорвать кольца моей внутренней замкнутости, то я не понимал, какую связь имеют эти глубинные думы о страдающем человечестве с нашей забастовкой.

Но атмосфера, меня окружавшая, сгущалась ежечасно; каждое утро и каждый вечер узнавали мы о новых требованиях и новых забастовках, и вот была объявлена та знаменитая всеобщая забастовка, создавшая 17 октября и все последующее до сего дня. Был вечер 16 октября, мы сидели вдвоем с Бородиным и спорили о «политике», сердце как-то-странно сжималось, и было то исключительное настроение ожидания, которое бывает перед заутреней или перед наблюдением лунного затмения.

Ночь была дивная, звезды изредка только скрывались набегавшими облаками, дул морской ветер, ставший таким святым в моей жизни. (Он связан навсегда с образом Лиды.) На другой день был объявлен манифест, а после 12 часов появились флаги. – А потом что-то злоещее на северо-востоке, кровь и манифестации, Трепов и патроны.

Что делали в это время мои товарищи, я положительно не знал, мне рассказывали, что они ездили в Петербург, собирались в кружки, организовывали общества. Не будучи в тесной связи с ними еще раньше, теперь я своим протестом приобрел в их лице своих искренних врагов, как я уже говорил, они хотели меня судить, но, увы, это были мечтания увлекшихся юных политиков. Отчасти последующие события, отчасти я сам не дали исполниться таким увлекательным мечтаниям.

Наконец, гимназия была открыта, директор – это был бессмертный Анненский, сказал речь, ему ответили; мы разошлись по классам, но выпущенные раз на свободу, как взволнованные волны, не

могли так скоро успокоиться, тем более, что вокруг еще все бушевало, все жило полною жизнью. В силу новых постановлений, мы имели право устраивать сходки, и вот эти сходки стали смыслом нашей гимназической жизни. После занятий мы собирались обыкновенно в актовом зале, ставили рядами скамейки, стол и трибуну и открывали свои заседания.

Первое время дело шло о ближайших днях нашей жизни, о дальнейших отношениях к политической жизни России, о наших организациях. Были учреждены постоянные сходки, выработаны боевая организация и товарищеские суды – все эти специальные термины слишком знакомы нам, имевшим счастье и несчастье жить в этот интереснейший период. Я по-прежнему был в опале, и только маленькая группа, состоящая по большей части из сыновей очень состоятельных личностей, концентрировалась вокруг меня и двух-трех моих товарищей.

<Когда брожение дошло до гимназических классов, я встал в позу оппозиции справа, сблизившись с группой «аристократической» части гимназистов, во главе с сыновьями банкиров Вавельберг¹⁷ и Кафталь;¹⁸ это были хорошо одетые мальчики, носившие накрахмаленные манжеты под рукавами гимназических курток; меня одевали скромно; я был застенчив и чувствовал себя неловко в их обществе; да и культурный уровень их был низок; правда, в их числе был Д. Коковцев, в будущем нововременский поэт, уже тогда писавший стихи, но в нем было что-то, казавшееся мне мертвым.

Несколько раз мы собирались для обсуждения нашей деятельности в доме Вавельберга на Нижнем бульваре; горничная разносила чай; разговоры были пустые и немного циничные>.¹⁹

После расстрела 9 января я резко изменил своё поведение и вскоре стал одним из деятельных участников гимназических сходок. Возбужденный событиями, я был в запале и действовал почти в иступлении. Мальчики, с которыми я теперь сблизился, внушали мне уважение, но, кажется, они не питали ко мне особого доверия – в сущности, это было естественно. Среди них был, между прочим – сын известного литературного критика Венгерова и сын переводчика «Заратустры» – Антоновский,²⁰ было ещё несколько человек... всё это были, как теперь сказали бы, «идейные мальчики». Почему позже я ни об одном из них ничего не слышал; куда они пропали?

Но неутомимое честолюбие, какая-то странная жажда быть причастным к этому стихийному движению, заставила меня подходить ближе к «левым» – это тоже слишком знакомый нам термин – и вот, однажды я потребовал себе голоса, не зная наперед за правых или левых я буду говорить. И я говорил горячо и страстно, я не ожидал, что я могу так говорить, я увлекался собственной способностью, я видел перед собой увлеченные лица, видел, как председатель и его товарищи, сидевшие за столом справа, повернулись ко мне, видел их удивление, их удовольствие, и бесконечный восторг наполнял меня и был причиной каждой моей фразы – это единственная, хорошо – сказанная мною за все время речь (я редко, но заикаюсь), а была она на тему, такую модную в то время, о бумажности нашей конституции. Когда я кончил, – гром рукоплесканий покрыл мои слова, – это были первые рукоплескания, с того дня каждая речь уже сопровождалась аплодисментами. Но я говорил за «левых» – я избавил себя от суда, я стал впереди толпы, но я потерял свое одиночество, свой мир; свою душу отравил я этой позорной, лживой, корыстной речью. Я так неблагодарно окунул её в грязь жизни человеческой, так запятнал её, что никогда уже она не будет снова той идеальной, замкнутой и чистой, какую была до этой зимы.

И тогда меня с полной основательностью обвинили все, начиная от директора, кончая товарищами в «подлизывании», в трусости перед левыми. Правда, моя страстность, моя решительность, моя безусловность, с которой я потом присоединился к левым, сделали то, что на меня возлагали многие рискованные и трудные предприятия, вроде депутатий, посредничества между сходками и директором и т. п. Но на мне всегда лежала ненависть товарищей. Когда же после Рождественских каникул гимназия лишилась главарей, которые не успели еще приехать, я царствовал в ней почти один; это были дивные и яркие дни в моей жизни. Я приходил со сходок разгоряченный, возбужденный до нервности, кое-как ел и, конечно, не занимался, (тогда это можно было). Вечера я проводил в организаторских кружках, комитетах. Вскоре вступил в сношения с петербургскими кружками и через своего брата²¹ <Леонида> готов был принять уже под свое руководство 2-й кадетский корпус. Но зима проходила, Россия успокаивалась, рабочие организации лопались одна за другой, ряд объявленных всеобщих забастовок провалились, не успев начаться. Политика Витте была безукоризненна. Реакция начиналась.

<Мне стыдно до сих пор за отца и за себя; не было во всем этом ни доверия, ни любви; я боялся его, и он боялся меня; никто из нас не смог преодолеть своей скрытности. Ничего похожего не было в отношениях моих братьев к отцу: они его любили. Все это, может быть, потому, что я не скрывал своего чувства превосходства над отцом, а он не мог мне этого простить. <...> Анненский, жалуясь на меня отцу, говорил обо мне с оттенком отвращения – так, по крайней мере, я мог понять со слов отца. А между тем, Анненский – я узнал об этом тогда же, – героически защищал учеников от царскосельской полиции, утверждая, что ответственность за их поступки лежит на нем и на педагогическом персонале, что ученики – это дети. Летом 1906 года он был отстранен от должности директора. С осени белая дверь в конце коридора отворялась уже каждую перемену и оттуда выходил маленький коварный старичок – Моор <sic> со звездой на вицмундире. Первое время мы встречали его свистом>.

Наша гимназия, как и все почти гимназии, стояла под флагом социалистов, мы готовили забастовку, ожидая только призыва от совета рабочих депутатов. Правда, мы уже не надеялись на солидарность всех классов и прибегали к обструкциям. Мне было поручено вместе с Васильевым, который, между прочим, сейчас находится в тюрьме, разгечь гимназию речами – это плохо удавалось, прибегли к насилию, распустили зловоние по классам. Гимназию опять закрыли, но еще накануне педагогический совет временно исключил семерых из нашего класса из гимназии и в том числе меня, ссылаясь на наше будто бы слишком приподнятое и нервное настроение.

В то же почти время, начальство 2-го корпуса, узнав о брожении кадет, грозило исключением моему брату. Тогда начались домашние истории. Отец со слезами на глазах умолял меня оставить мои намерения, обещал мне сделать, что я хочу, лишь бы я порвал с Антоновским – это был центр организации, холодный, но твердый и дельный, он нес невидимо на своих плечах всю внешнюю сторону гимназических пертурбаций. Тогда начались для меня безумно мучительные дни, когда вся душа моя стонала от борьбы между честолюбием, властью, популярностью, сильной жизнью и слезами отца. Я уходил к Бородину, но ему я не говорил ни слова обо всем этом, тем более, что незадолго до этого у меня произошла с ним ссора из-за убеждений, тогда на это тоже была большая мода.

Потом я напрасно скрывался в Царскосельском парке, хотел, хоть на минуту забыть все, что происходило дома. А дома было страшно тяжело: начиная от бабушки, кончая маленьким братом,²² все «тыкали» мне, не успел я войти в дверь, на то, что делаю я с отцом, все ненавидели меня, не разговаривали и все время перекидывались между собой фразами, в которых выражали удивление, или злость, или ненависть к таким сыновьям, каким был я. Я измучивался вконец, мой отец, такой сухой, педантичный, железный, плакал и умолял меня – что же могло еще быть. И я решил. Мое решение стоило мне только моего честолюбия и моей славы, но, Боже, как трудно оно мне досталось. И, когда снова открылась гимназия, я был уже не тем; правда, я долго еще дипломатично вертелся с левыми, но роль моя больше никогда уже ко мне не возвращалась, да я и не мог бы ее теперь исполнить. Я начал терять всякие точки опоры, и тогда начался третий период моего кризиса.

Наступила весна, как всегда, разлилась она, звонкая и торжествующая, в Царскосельском парке. Краски становились ярче и живее, чудно было в голубом небе. Но мрачное и тяжелое жило в моей душе. Этот год таких страшных бурь и переломов тяжело давил меня и все больше и больше слабел мой жизненный инстинкт. Я еще верил социалистам, но я уже не жил ими больше. Мы переехали, как всегда, на дачу в Павловск. И я удивлялся, когда увидел знакомые места, тому, как переменялся я за эту зиму. Но вот, однажды, я встречаю Лиду Леонтьеву; с прошлого года жил еще ее образ во мне, ее настроение, ее речи еще звучали в моих ушах, потому что я никогда не забывал о ней. Мы пошли в парк. Она прямо начала с моих зимних историй, она знала о них – это был отзвук моей гимназической славы, которая разнеслась по окрестностям Царского Села. Она первая указала мне истинную причину моих увлечений социализмом, она проникла до самой глубины моей души, она откопала там мое честолюбие и разложила его передо мной, очистив от всяких идеалов. В полчаса она убедила меня в<о> лжи социализма, самым простым способом; она спросила меня о страданиях человечества, разве они материальны?

<...>

И когда вернулся я домой, я уже не был социалистом ни душой, ни телом, я не носил в себе уже больше этих вздорных идей, но

вместо того во мне был ее печальный, ее чудный образ. Дни шли. Лето развернулось чудное, жаркое с синими небесами.

<...>

Шопенгауэр снова появился на сцене и теперь уже во всей своей силе. С каждым днем я все больше и больше сознавал, что жить – ужасно. Были белые ночи. И почти каждый день, когда в доме все успокаивались, около часу я вылезал в окно и шел за нею, чтобы идти в парк (ей это позволялось). Мы ходили до 3–4 часов и все время проводили в разговорах.

Странно, такая обстановка, ночь и весна, а я не жаждал ничего, кроме разговоров, я внимал каждому ее слову, каждой мысли. И ничего не имел я уже в мире ценного, кроме нее. <...> Только одно странное обстоятельство было тогда. Когда я видел ее, когда она касалась наших отношений, я сопротивлялся ей упорно, я никогда не давал ей повода подойти ко мне ближе и, скорей наоборот, отталкивал.

<...>

А вокруг меня была уже настоящая осень. Листья улетали, днем и ночью шумел северный ветер, который я не могу теперь спокойно слушать, который будит во мне прошлое, поет мне песню про печаль и тоску, и страдание ушедшей, как всё, Лиды. Был конец августа, я провожал Лиду вечером после театра. Мы шли парком. Над нами зелень деревьев сливалась с темнотой небес, и небо, казалось, вместе с ветками качалось и шелестело в смутной тоске, фонари тускло бросали свет сквозь деревья и светлые пятна ложились на песок дорожки.

<...>

Я не могу и теперь вспоминать этот вечер. Лида, святая, дивная Лида, как я тебя любил. Больше я не видал ее в Павловске в то лето. Я остался один. Все дни проводил я в окраинах парка, где мы с ней гуляли; и полноту, и красоту, и восторг тех часов никогда ничто мне уже не воскресит.

<...>

Недели три еще продолжалось это спокойствие. В середине ноября оно вылилось в дневнике, а еще раньше постепенно стихало благодаря сочинению «Правда жизни и правда творчества»,²³ которое своим существованием, а оно принесло мне славу, обязано Лиде. Тогда я познакомился с Ницше. Началось выздоровление и успехи в гимназии.

<...>

14 ноября.

Был ноябрь месяц, когда я начинал понимать, что произошло. И, если, до сих пор я скрывал сам от себя, потому что так было принято, свою любовь, то теперь я этого не мог сделать. Я начинал понимать, что это была любовь, возможная только раз жизни.

¹ Пунин Николай Николаевич (1888–1953) родился в семье военного врача Николая Михайловича. Пунины жили с 1889 г. почти сорок лет в Павловске в доме Прены на Госпитальной улице, д. 5. Этот деревянный дом сохранился до наших дней. В семье было пять детей – четыре сына и дочь. Два старших сына – Николай и Александр – учились и окончили Императорскую Николаевскую гимназию, директором которой был И. Ф. Анненский. Леонид и Лев учились в военных училищах, Зинаида окончила Ксениенскую гимназию. С детства дети были приучены хранить семейные традиции и вести дневник. В семье старшего сына Николая сохранились его дневники. Большая часть из них опубликована: *Пунин Н.* Мир светел любовью. Дневники и письма. М., 2000). Предлагаем вниманию читателей выдержки из гимназических дневников, в которых описываются события 1905–1906 гг., не вошедшие в книгу, исключение составляет небольшой фрагмент воспоминаний (от слов «Анненский казался нам директором чудачком...») до слов «...этим они выражали свое иронически-почтительное отношение к директору Царскосельской гимназии», опубликованный ранее, см.: Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 120.

² Пунин Н. М. (1860–1920). Овдовел в 1898 г., оставшись с пятью детьми, (старшему – Николаю – 9 лет, младшему – 9 месяцев), в 1900 женился на Елизавете Антоновне Жаннин-Перро (?-1929). Военный врач. Служил с 1902 г. в качестве врача в Императорской Николаевской царскосельской гимназии, имел частную практику.

³ Пунин А. Н. (1890-1942). Родился в Павловске, был вторым сыном в семье Пуниных. С 1900–1908 г. учился и окончил Николаевскую гимназию.

⁴ Имеется в виду слуга Анненского – Гламазда Арефа Федорович.

⁵ В Царском Селе 29 мая 1899 г. был заложен камень в честь столетия А. С. Пушкина для будущего памятника; 15 октября 1899 г. был установлен памятник А. С. Пушкину работы скульптора Р. Р. Баха.

⁶ Бородин Саша (1885–1925). Окончил Николаевскую гимназию в 1904 г. Он был в VII, а Пунин – в VI кл. (1902–1903 уч. год) Николаевской гимназии, тем не менее, они подружались. После окончания гимназии Бородин много путешествовал, он побывал на Кавказе, в Италии, в Швейцарии, в Вене. Они переписывались и решали сложные астрономические задачки. Несколько его писем хранится в архиве Н. Н. Пунина.

⁷ Дмитрий Аркадьевич Судовский – инспектор и учитель естествознания и географии Николаевской гимназии.

⁸ В архиве Н. Н. Пунина хранится книга: *Жоли Генрих.* Психология великих людей. Перевод с французского. Издание Ф. Павленкова. СПб., 1894. Между первым и вторым названием рукой Николая Пунина написано карандашом: «по преимуществу французских». В крайнем верхнем правом углу владельческая надпись: «Н. Пунин. 1905. 17 апреля». Ниже рукой Пунина надпись чернилами наискосок: «Книга, рекомендованная И. Ф. Анненским».

⁹ Вероятно, речь идёт о Владимире Алексеевиче Иванове (1886–1970). Он окончил Николаевскую гимназию в 1907 г. с золотой медалью, в один год с Н. Пуниным. В 1918 г. оказался за границей. Как учёный востоковед-иранист внёс большой вклад в изучение персидских и иранских рукописей. См. подробнее: *Финкельштейн К.* Императорская Николаевская Царскосельская гимназия. Ученики. СПб., 2009. С. 172.

¹⁰ Коблевский. Сведений не обнаружено, соученик по классу Н. Пунина

¹¹ Гимназический журнал, издаваемый в 1903 г. под редакцией А. А. Бородина. Издатель Н. Н. Пунин.

¹² «Муравейник» (1903 г.) – гимназический журнал, разрешенный директором и проверенный преподавателем А. А. Мухиным.

¹³ Травчетов Иван Матвеевич. Преподаватель математики и инспектор Николаевской гимназии. См.: *Финкельштейн К.* Императорская Николаевская гимназия. СПб., 2008. С. 130.

¹⁴ Мухин А. А. – преподаватель русского языка в Николаевской гимназии.

¹⁵ Леонтьева Лида – «Дама Луны», первая любовь Коли Пунина. Она жила в Павловске. Они познакомились осенью 1905 г. в Павловском парке, а летом 1906 г. она стала женой своего друга Е. Ф. Умерла во время блокады.

¹⁶ Орлов В. И. (1870–1953). С 1905 г. (?) преподавал в Николаевской гимназии русский язык.

¹⁷ Вероятно, младший сын Ипполита Андреевича – Вацлов.

¹⁸ Вероятно, Андрей Станиславович Кафталь, сын Станислава Бернардовича.

¹⁹ Здесь и далее в угловые скобки заключен текст, из более поздних дневников Н. Пунина.

²⁰ Литературный критик – Семён Афанасьевич Венгеров (1855–1920), его сын Всеволод (1887–1938), учился с Н. Пуниным в гимназии, был расстрелян и реабилитирован. Известный переводчик Ницше – Юлий Михайлович Антоновский (1857–1913), его сын Николай учился в одном классе с Н. Пуниным, сослан в Иргиз, в 1935 г. реабилитирован.

²¹ Пунин Леонид Николаевич (1893–1916). Родился в Павловске, третий сын в семье Пуниных. В Николаевской гимназии учился только в первом классе, затем отец перевёл его в Псковский кадетский корпус. Атаман партизанского отряда. Погиб на войне – 1 сентября 1916 г. Похоронен в Павловске. См.: Новое время. 1916. 18 сентября (1 октября). № 14561. С. 5; *Каминская А. Г.* Павловск и Первая Мировая война. СПб., 2014. С. 109–129; *Хорошилова О. А.* Всадники особого назначения. М., 2013. С. 31–32.

²² Пунин Лев Николаевич (1897–1963). Родился в Павловске, был пятым ребёнком в семье Пуниных. Окончил 2-й кадетский корпус и Павловское военное училище. Военный инженер. Похоронен в Павловске.

²³ В конце ноября 1906 г. Николай узнал, что Лида Леонтьева вышла замуж. Для него это была первая личная драма. Он тяжело переживал это событие. Обращение к философии и, особенно, к Ницше помогло ему обрести спокойствие. В архиве Н. Пунина сохранилось сочинение, написанное в эти дни в VIII классе под сильным влиянием философа.